

*Возможно, все мы лишь истории,
которые сейчас кто-то читает.*

День 1-й

ГЕНРИ

Я спрыгиваю.

Падение длится всего несколько секунд, но я успеваю услышать гул автомобильных моторов на Хаммерсмитском мосту — час пик; успеваю вдохнуть все запахи города, уходящей весны, росы на листьях. Затем удар, холодная вода смыкается над моей головой. Я плыву, плыву быстрее, плыву с отливным течением. Море, находящееся в пятидесяти километрах отсюда, засасывает реку. Мое тело все еще помнит океанские приливы, такое чувство, будто я никогда не уезжал от моря, хотя в последний раз плавал в водах Атлантики двадцать пять лет назад.

Вот я хватаю девочку.

Река тянет малышку за собой, хочет овладеть ею, растворить ее тело, сорвать улыбку с ее губ, забрать надежду, оставив один лишь страх, отобрать будущее у ее жизни.

Она тонет в глиняно-бурой воде.

Я ныряю, подтягиваю ее за волосы к себе. Мне удается поймать ее за худенькое, выскальзывающее из рук плечико. Хватаюсь крепче, перевожу дух от напряжения, захлебываясь водой, она соленая и ледяная.

Темза обнимает меня.

Личико со светлыми, как зимнее море, глазами приближается ко мне. Одной рукой девочка зажимает нос, как будто прыгнула с бортика бассейна в теплую хлорированную воду. А ведь она упала за борт. За борт одного из тех прогулочных кораблей, что катают туристов по Темзе от «Лондонского ока», гигантского колеса обозрения, расположенного недалеко от Биг-Бена, до Гринвича и обратно. Девочка встала на перила, забралась на предпоследнюю перекладину и подставила мордашку лучам майского солнца. Когда волна подбросила корабль, ее перекинуло вперед, через перила. Девочка даже не вскрикнула. Лишь безграничное любопытство светилось в ее взгляде.

Мы видели, как она падает. Целующаяся на Хаммерсмитском мосту парочка, нищий в поношенном смокинге и я. Нищий поднялся со своего «рабочего места» — картонки, брошенной на солнце у зеленых перил подвесного, на цепях, моста.

Он пробормотал: «О боже!» Парочка уставилась на меня. Все трое не пошевелились. Они только смотрели на меня.

И вот я перелез через зеленые кованые перила моста. Дождался, когда подо мной всплывет маленький кулек.

И спрыгнул.

Вот она смотрит на меня с таким доверием и надеждой, которых человек, подобный мне, не заслуживает. Малышка вынуждена рассчитывать только на меня.

Я приподнимаю худенькое, выскальзывающее из рук тельце. Девочка пинает меня ногами в грудь, в голову, в лицо.

Я захлебываюсь, дышу водой.

И все же мне удается вынырнуть на поверхность, и мир вновь наполняется звуками, майский ветерок ласкает мокрое лицо, волны брызжут мне в глаза. Я поворачиваюсь на спину и укладываюсь в зыбкую водную колыбель, устраиваю девочку на своей груди так, что она может свободно дышать и видеть голубое небо. Итак, Темза подхватывает нас, несет мимо кирпичных фасадов и деревянных лодок у илистого берега.

Девочка жадно хватая воздух ртом, кашляет. Ей, наверное, годика четыре или пять, я плохо разбираюсь в детях, даже в собственном ребенке. Сэмюэле. Сэме.

Ему тринадцать, и он ждет меня.

До сих пор. До сих пор ждет меня. А я так и не объявился.

Я принимаюсь напевать мелодию «*La Mer*»¹. Знаменитую величественную песню о красоте моря, строчки на французском сами всплывают в памяти, хотя я не говорил на языке своей родины с восемнадцати лет. И вот теперь этот язык возвращается ко мне.

Я пою и ощущаю, как сердце девочки начинает биться все спокойнее и спокойнее, чувствую, как работают ее маленькие легкие, чувствую ее доверие сквозь тонкий слой воды и страха. Я держу ее и, лежа на спине, гребу одной рукой в направлении берега и небольшого причала. Моя одежда отяжелела от воды. Я по-лягушачьи толкаюсь ногами и орудую рукой, как одорукий бандит.

— Все будет хорошо, — шепчу я.

¹ «*La Mer*» (фр. «Море») — песня Шарля Трене 1946 года.

И Эдди в моей голове отвечает, четко, словно она произносит это прямо мне в ухо: «Генри, ты не умеешь врать. Это одна из самых сильных твоих сторон».

Эдди — лучшее, что так и не случилось в моей жизни.

Плечом я утыкаюсь в плавучую глыбу причала. Недалеко от нас лестница.

Я обхватываю девчужку и поднимаю ее.

Придерживая ее крошечные ножки, я подталкиваю малышку выше, еще выше, ей удастся схватиться за что-то, и вот я больше не чувствую ее ног.

Следом и я выбираюсь из реки, беру на руки измученного ребенка, который изо всех сил старается не плакать, и бегу мимо желтых, красных и серых кирпичных домов, обратно на Хаммерсмитский мост. Девочка обеими руками обхватила меня за шею и уткнулась лицом в плечо. Она почти совсем ничего не весит и все же заметно тяжелеет, пока я бегу и думаю о том, что сейчас мне и правда нужно поторопиться, чтобы успеть к Сэму. Мне нужно к нему. Нужно. Мой сын ждет меня в школе.

Парочка все еще стоит на Хаммерсмитском мосту, прильнув друг к другу. Дамочка уставилась на меня своими огромными, блестящими от алкоголя глазами, она напоминает мне Эмми Уайнхаус — у нее такие же черные стрелки и осиное гнездо на голове. Парень не перестает повторять: «Не может быть, старик, не может быть, ты и правда вытащил ее, этого просто не может быть». На меня обращен объектив его мобильного.

— Вы только снимали или все-таки додумались позвать на помощь? — рычу я на него.

Я опускаю девочку на землю. Она не хочет отпустить меня, цепляется за шею, ее пальчики хватаются за мои мокрые волосы, соскальзывают.

Вдруг на меня наваливается слабость, и я теряю равновесие. Не могу больше держаться на ногах и валюсь на дорогу.

Девочка кричит.

Что-то большое и теплое за моим плечом. Замечаю искаженное ужасом лицо за лобовым стеклом, вижу черный, блестящий на солнце капот, который отбрасывает в сторону всю нижнюю часть моего тела.

Потом я вижу собственную тень на асфальте, которая с сумасшедшей скоростью летит мне навстречу.

Раздается звук, похожий на треск яичной скорлупы при ударе по краю фарфоровой чашки.

Боль в голове непомерная — хуже, чем резкий глубокий укол, как бывает, если враз проглотить слишком много мороженого.

Внезапно все вокруг смолкает. Я исчезаю, вращаюсь в землю. Погружаюсь все глубже и все быстрее, словно падаю в какой-то черный омут, скрытый под асфальтом, прямо подо мной.

Из мрачной глубины воронки что-то всматривается в меня, будто ожидая. Надо мной раскинулось небо. Оно удаляется от меня, поднимается все выше и выше.

Я вижу лицо девочки, склоненное надо мной, ее странно знакомые глаза цвета зимнего моря, которые смотрят на меня с грустью, пока я просачиваюсь в камень. Море, плещущееся в ее глазах, сливается с водами надо мной. Затем я сливаюсь с этим морем, вода заполняет меня.

Мужчины и женщины толпятся вокруг этого моря, они почти полностью закрывают от меня голубое небо.

Я слышу, о чем они думают.

Женщина за рулем до последнего старалась увернуться.

Это все свет встречных машин, он ослепил ее. Все из-за света. Она просто не заметила его.

Я думала, это пьяный, когда он рухнул на проезжую часть.

Он еще жив?

Я узнаю нищего в поношенном смокинге, который расталкивает окружившую меня толпу, и на мгновение снова замечаю небо, такое бесконечно прекрасное.

Я закрываю глаза. Немного отдохну, а потом встану и пойду дальше, приду почти вовремя. Когда будут оглашать присутствующих в День отца и сына, то до нас, до Сэма и до меня, дойдут не сразу. У него фамилия матери, он почти в самом конце списка.

*Дорогой папа,
мы не знаем друг друга, и мне кажется, это нужно исправить. Если ты тоже так считаешь, приходи 18 мая на День отца и сына в школу Колет-Корт. Это школа для мальчиков, отделение школы Святого Павла, в районе Барнс, прямо на берегу Темзы. Я буду ждать тебя на улице.*

Сэмюэль Ноам Валентинер

Сэм, я скоро буду. Только передохну немного.

Кто-то снова открывает мне глаза. Край моря виднеется далеко, очень далеко, далеко надо мной, и какой-то мужчина, склонившись над поглотившей меня морской воронкой, что-то кричит.

КНИГА СНОВ

На нем медицинская униформа и солнечные очки в золотой оправе. От него пахнет куревом.

Вижу свое отражение в стеклах его очков, окаймленных золотом, — свое отражение и то, как пустеет мой взгляд, как он стекленеет. Я читаю мысли санитаря.

«Старик, — думает он, заглядывая в воронку, — не надо, старик, не умирай. Пожалуйста. Не умирай».

Высокий протяжный звук подводит прямую черту под моей жизнью.

Не сейчас!

Не сейчас! Еще слишком рано!

Еще слишком...

Слишком...

Протяжный звук оборачивается барабанным боем.

Я спрыгиваю.

День 15-й

СЭМ

14:35. Сэмюэль Ноам Валентинер.

Пациент: Генри М. Скиннер.

Я писал это уже четырнадцать раз.

Но каждый день приходится записываться снова, и каждый день миссис Уолкер протягивает мне черную планшетку с бланком, на котором я печатными буквами фиксирую время, свое имя и имя пациента, к которому пришел.

Строчкой выше стоит Эд Томлин. Эд Томлин тоже навещает моего отца, всегда за несколько часов до меня, пока я в школе. Кто это?

— Я уже был здесь вчера, — говорю я миссис Уолкер.

— Знаю, милый.

Женщина в приемном покое Веллингтонской больницы лжет. Она не узнает меня. Ложь имеет свое звучание, она белее по сравнению с обычным голосом. На бейдже над ее левой грудью красуется ее имя, напечатанное большими буквами: ШЕЙЛА УОЛКЕР. Она называет меня «милый», потому что не знает моего имени. Англичане — они такие, ненавидят говорить друг другу правду в лицо, считают это грубостью.

Шейлу Уолкер тяготят тени прошлых лет, я это вижу, потому что вижу подобное при взгляде на большинство людей. У одних этот груз ве-

лик, у других — меньше, у детей его вовсе нет. Если человека мучают тени прошлого, то это значит, что он родом из таких стран, как Сирия или Афганистан, и тени прошлого растут с ним.

Миссис Уолкер часто приходилось грустить. И теперь она не замечает настоящего, потому что все еще думает о прошлом. Именно поэтому я для нее всего лишь какой-то парень в школьной форме, с жутким ломающимся голосом. Она смотрит на меня и видит, возможно, пляж и свою пустую руку, которую больше некому держать.

А ведь я был тут и вчера, и позавчера. И позавчера. И одиннадцать дней назад. Я прогуливаю то один, то другой урок, до обеда, после обеда, сегодня это французский у мадам Люпшон. Скотт сказал, что нужно распределить мои пропуски между всеми предметами, чтобы они не так сильно бросались в глаза.

Скотт Макмиллан — настоящий специалист. По прогулам, по поиску всякой всячины в «Гугле», по разным вещам, которыми больше никто не занимается. И помимо всего прочего, по шахматам, рисованию и коллекционированию выговоров. В общем, во всем.

Ему тринадцать, его IQ 152 балла, он может подделать любой незнакомый почерк, и у него богатый отец, который его ненавидит. Мой IQ составляет всего 148 баллов, поэтому он «гений», а я «почти гений», или, как выразился бы Скотт: «*Moi — le Brainman*¹, а *toi, mon ami*², специалист-всезнайка». У Скотта *le Brainman* сейчас фран-

¹ *Moi* — я (*фр.*), слово *Brainman* — английский неологизм, который можно перевести как «человек-мозг». В 2005 году появился фильм под таким названием, посвященный Дэниелу Таммету, высокоинтеллектуальному аутисту и синестетику.

² Ты, мой друг (*фр.*).

цузский период, который начался после того, как он освоил китайский и какой-то щелкающий африканский язык.

Мне тоже тринадцать, я синестетик, «синни-идиот обыкновенный», как кое-кто называет меня в школе, и мой отец уже две недели лежит в искусственной коме. Это своего рода длительный наркоз, с тем лишь исключением, что в мозгу у него маленькие аспираторы-отсосы, которые должны снижать давление, еще один аппарат дышит за него, и еще один охлаждает его кровь, и еще один за него ест и ходит в туалет. Сегодня его должны разбудить.

В школе никто не знает, что мой отец в коме, — никто, кроме Скотта. Это потому, что никто не знает, что Стив, муж моей матери, не мой отец. Никто, кроме Скотта. А он как-то сказал мне: «Старик, ты и глазом не успеешь моргнуть, как превратишься в самого интересного парня школы, пусть и на одну лишь золотую неделю. Подумай хорошенько, хочешь ли ты отказаться от такого шанса. Это ведь звездный час в жизни любого парня: вмиг стать самым загадочным типом в школе. Стоит попробовать хотя бы из-за девочек». В действительности он так не считает. Да и девочек в нашей школе нет.

Скотт и я — единственные тринадцатилетние из Колет-Корт, которых приняли в Менсу¹. Скотт называет это сообщество людей с высоким коэффициентом интеллекта «сборищем слабоматиков». Мама говорит, что мне стоит гордиться собой, ведь я один из всего двух несовершеннолет-

¹ *Менса* (лат. *mensa* — стол) — крупнейшая и старейшая организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

них среди девятистот «молодых интеллектуалов» в Англии, но гордиться по чужой указке — все равно что жевать наждачную бумагу.

Если мама узнает, что я тут...

Возможно, она отдаст меня на усыновление. Возможно, никогда больше не заговорит со мной. Возможно, отправит в интернат. Не знаю.

— Спасибо, милый. — Голос Шейлы Уолкер обретает привычный цвет, когда она забирает планшетку с бланком со стойки и вносит мое имя в компьютер. Ее длинные ногти решительно стучат по клавиатуре в зеленом тоне.

— Тебе на второй, Сэмюэль Ноам Валентинер, — произносит она так, будто я этого не знаю.

На втором этаже отделение интенсивной терапии для пациентов, которые живут в тишине и одиночестве. Потому они сюда и поступают. В Веллингтонскую больницу, отделение неврологии. В Лондонский центр по изучению мозга. Что-то вроде НАСА среди неврологических отделений.

Шейла Уолкер протягивает мне план формата А4, абсолютно такой же, как вчера и позавчера. Она уверенно обводит красным маркером то место на плане, где мы находимся, и то место, куда мне нужно попасть, и показывает самый короткий путь из точки А в точку В.

— Лучше всего тебе сразу поехать на том лифте до второго этажа, Сэмюэль Ноам.

Миссис Уолкер с таким же успехом могла бы работать в лондонской подземке.

— Кенсингтон — направо, прободение кишечника — прямо, морг — у автоматов с напитками, налево. Хорошего дня вам, мистер Сэмюэль Ноам Валентинер.

— Вам того же, мэм, — отвечаю я, но она уже и думать обо мне забыла.

В первый день со мной все же пришла мама. В ожидании лифта она сказала:

— Мы ничем не обязаны твоему отцу, понимаешь? Ничем. Мы пришли лишь затем...

— Я понимаю, — перебил я ее. — Ты не хочешь его видеть. Ты дала себе обещание.

— Как так? — спросила она через какое-то время раздраженно. — Как это ты все всегда понимаешь, Сэм? Ты еще слишком юн для подобных вещей! — Она протягивает мне план. — Извини, но все, что связано с твоим отцом, просто сводит меня с ума. Это какой-то кошмар, Сэм.

Ей не понравилось, что я втайне от нее спросил отца, не придет ли он в Колет-Корт на День отца и сына. «Проси не проси — его все равно не будет», — сказала она.

В тот момент ее голос переполнил меня, он подходил на аромат розмарина в дождливую погоду, такой печальный, приглушенный. Я чувствовал, как она любит меня в эту секунду, я понял это по тому, что вдруг смог дышать, дышать по-настоящему, словно на вершине самой высокой в мире горы. Влажный комок, который я обычно чувствую в груди, исчез.

Порой моя любовь к маме ощущается так сильно, что я желаю своей смерти, ведь тогда она наконец-то смогла бы стать счастливой. Тогда у нее были бы только муж Стив и мой маленький братишка Малкольм. Они стали бы настоящей семьей, в которой есть отец, мать и ребенок, а не такой, в которой имеется отец, мать, ребенок и еще какой-то тип, который никогда не смотрит другим в глаза, читает слишком много научной фан-

тастики и рожден от человека, которого она терпеть не может.

— Послушай, давай я побуду у него, сколько захочу, но один. Подождешь меня в кафе? — предложил я.

Она обняла меня. Я чувствовал, как сильно ей хотелось бы согласиться и как сильно она этого стыдилась.

Моя мама не всегда была такой. Давным-давно она работала фотографом и ездила на войну. Тогда она ничего не боялась, ничего и никого. Но потом что-то случилось — я у нее случился, стал ее несчастным случаем, — и все изменилось. Сейчас она старается идти по жизни как можно неприметнее, будто хочет избежать внимания к себе со стороны несчастья.

— Ну пожалуйста, — прошу я. — Мне уже почти четырнадцать. Я уже не ребенок, *taman*¹.

В конце концов мама пошла в кафе, а я один отправился на второй этаж, к человеку, который является моим отцом, потому что однажды ночью, которую мама называет «неприятным моментом», она переспала с ним. Она никогда не рассказывала мне, где и почему это произошло.

Шейла Уолкер не смотрит мне вслед, когда я иду к лифту и поднимаюсь на второй этаж. В первую очередь мне нужно надеть халат поверх школьной формы, продезинфицировать руки до локтей и натянуть овальную белую маску, закрывающую рот и нос.

Отделение интенсивной терапии Центра по изучению головного мозга похоже на большой, хорошо освещенный склад. Вдоль трех длинных стен — *A*, *B* и *C* — стоят кровати, и на потолке

¹ Мама, матушка (*фр.*).

установлены крепления для шторок, чтобы можно было каждую кровать отделить голубыми шторками. Посередине зала возвышается платформа, на ней стол с компьютерными мониторами, за ними сидят врачи, они смотрят в мониторы или звонят по телефону. У каждого пациента свой санитар или своя сестра. Все смахивает на склад людей, к тому же пациенты в коме вместо имен обозначены буквами и цифрами: «А3 — снижение глюкозы», «В9 — возбужден». Они перестали быть реальными.

Мой отец среди этих нереальностей числится под номером С7.

В первый день его череп был побрит справа и украшен оранжево-красным йодным пятном. Широкие белые лейкопластыри удерживали на лице трубки дыхательного аппарата, кожа казалась синей, и зеленой, и фиолетовой. Цвета ночи, силы, сна. Когда я зашел в палату первый раз, я будто проглотил комок из вязкого, текучего бетона, который с каждым вздохом все затвердевал в животе. Этот бетонный шар с тех пор я так в животе и таскаю.

Я уже говорил, что я синни-идиот. Воспринимаю мир иначе, чем другие. Я вижу звуки, голоса и музыку цветными. Метро в Лондоне звучит серо-синим цветом, как седельная сумка с множеством ножей. Голос у моей мамы мягкий, тонкая пелена над замерзшим озером, он фиолетовый. У моего голоса сейчас вообще нет цвета. Когда мне страшно, он становится светло-желтым. Когда я разговариваю, он светло-голубой, как ползунки. Он ломается, и я предпочел бы молчать до тех пор, пока это не закончится.

Голоса людей, которые знают, кто они и на что способны, имеют зеленый цвет. Темно-зеленые

голоса, величественные и спокойные, как старый мудрый лес.

Я и числа вижу цветными. Восьмерка — зеленая, четверка — желтая, пятерка — синяя. Буквы — настоящие личности. «Р» агрессивная, «с» коварная, а «к» — скрытая расистка. «Ц» всегда готова помочь, а «ф» — настоящая дива. «Г» сильная и честная.

Заходя в помещение, я чувствую, какие эмоции здесь чаще всего испытывают. Если тени сгущаются так плотно, как над миссис Уолкер, я ощущаю, как тяжело на сердце у человека. У меня просто не получается смотреть людям в глаза. В них столько всего, и многого я не могу понять. Порой мне страшно: я вижу, когда они умрут. Такое со мной случалось, например, когда я смотрел в глаза кастеляну Колет-Корт или нашей соседке, миссис Логан.

Раньше синестезию называли патологическим состоянием. Патологической застенчивостью, патологической чувствительностью, а для семьи все это — настоящее испытание. Такие дети постоянно орут, чуть что — плачут и вообще ведут себя странно.

Взрослыми они зачастую оказываются в пограничных состояниях или превращаются в полных шизофреников, страдают депрессиями, многие кончают жизнь самоубийством, потому что не могут больше выносить этот мир и то, как они его видят. Гиперчувствительные плаксы.

Если бы против этого имелась таблетка, я проглотил бы ее не задумываясь.

Когда я в первый раз проходил по залу нереальных, мне показалось, что их души источают собственные им цвета. Вот так я вижу мир и с удовольствием отрекся бы от этой способности.

И вот я увидел этого мужчину на койке С7 и почувствовал... Совсем ничего.

Это было странно.

Такого со мной еще не случалось.

Но это правда: незнакомый мужчина лежал спиной на алюминиевой каталке, неподвижно. Вокруг него плотно сгустились тени. Лунные цвета. Глаза его были закрыты, и он ничего не источал.

Это «ничего» на какой-то странный, прохладный манер успокоило меня. Я осторожно присел на край койки.

По-прежнему ничего.

Мне стало легче. Если я ничего не чувствую, значит должен перестать скучать по отцу и мне не придется постоянно думать о нем, искать его везде и всюду. Значит, не нужно будет приходить сюда снова. Значит, мама будет довольна.

Но тут я увидел скубиду.

Скубиду изменил все.

Мой отец носил на запястье правой руки плетеный браслетик. Он был темно-синий, светло-голубой и оранжевый.

Я сделал его два года назад и подарил ему. По почте. Мама сказала, что он все равно никогда на наденет его. Сразу выбросит в мусорку.

Я поверил ей, как обычно, пусть даже и надеялся на противоположное. В конце концов поверил, что мой отец — именно тот человек, которого она всегда описывала. Грубый, эгоистичный, беспечный. Но вот он носит мой браслет. Носит дурацкий пластиковый детский браслетик в трех моих любимых цветах — ночи, моря и летнего утра.

Он его носит.